



Кукуша

Тело на
троне

Кукуша Кукуша

Тело на троне

<https://litres.ru/74107571>

SelfPub; 2026

Аннотация

Зимний дворец. 28 января 1725 года. Умирает ПЁТР ПЕРВЫЙ. Но его не похоронят ни через день, ни через месяц. Шесть лет тело императора будет ждать своего часа. Шесть лет Россия будет жить в тени мёртвого царя. Это роман-трагедия о тех, кто создавал самые пышные похороны в истории империи. Яков Брюс — учёный-мистик, хранитель времени, которому суждено возглавить «Печальную комиссию». Доменико Трезини — архитектор, строящий собор, который станет гробницей. Франческо Санти — художник, рисующий «Печальную залу» и плетущий любовные интриги. Бартоломео Растрелли — скульптор, снимающий посмертную маску, чтобы сохранить лицо эпохи. Судьбы этих людей переплетаются с судьбой империи в ожидании великого прощания. Любовь и предательство, власть и бессилие, искусство и смерть — всё это спрессовано в шести годах, когда Россия ждала, когда её император обретёт покой. Тело на троне — это не просто исторический роман. Это жестокая и прекрасная история о том, как строятся империи и как умирают цари.

Кукуша

Тело на троне

ВСТУПЛЕНИЕ

Эта книга родилась из одной даты. 21 мая 1731 года. Шесть лет, четыре месяца и двадцать три дня прошло с того момента, как Пётр Алексеевич Романов, первый император Всероссийский, испустил последний вздох в своём Зимнем дворце. Шесть лет тело человека, который перекрыл Россию железной рукой, стояло в недостроенном соборе, ожидая погребения. Шесть лет Россия жила с мёртвым царём.

Когда я впервые наткнулся на этот факт в архивах, я не поверил. Я перепроверил источники, даты, письма современников. Всё сходилось. Смерть — самое простое и самое человеческое событие — в случае с Петром Великим стало событием политическим, ритуальным, почти мистическим. Его не хоронили не потому, что забыли. Его хоронили так долго потому, что он сам этого хотел. Он хотел, чтобы его смерть стала спектаклем. Он хотел, чтобы Европа смотрела на Россию с ужасом и восхищением.

Но я понял, что не это главное. Главное — не Пётр. Главное — те, кто стоял за кулисами этого спектакля. Те, кто строил «Печальную залу», кто снимал маску с лица покойного, кто писал «Слово» над гробом, кто ждал, ждал, ждал,

превращая своё ожидание в искусство.

Яков Брюс — учёный, который мог считать звёзды, но не мог остановить время. Доменико Трезини — архитектор, который построил собор, чтобы в нём похоронили императора, а похоронил в нём свою жену и свою молодость. Франческо Санти — художник, который рисовал траурные залы, но не мог нарисовать своё счастье. Бартоломео Растрелли — скульптор, который сохранил лицо Петра, но потерял собственное лицо. Луи Каравак — живописец, который умер пьяным, оставив после себя только красную стену. Гендрик Брумкорст — мастер, который сделал медный ковчег и спал, обнимая его, потому что ковчег не предаёт. Феофан Прокопович — проповедник, который двенадцать раз переписывал свою речь, боясь сказать правду.

Это их история. История людей, которые превратили смерть в театр, а траур — в историю. История о том, как строятся империи и как рушатся судьбы. История о том, что власть — это не только трон, но и тело на нём.

Я писал эту книгу четыре года. Я читал сотни документов, писем, дневников, смет и чертежей. Я ездил в Петербург, стоял в Петропавловском соборе, смотрел на могилу Петра и пытался представить, как это было. Я видел перед собой Брюса, стоящего у окна, Санти, рисующего при свечах, Трезини, поднимающегося на леса. Я слышал их голоса. Я чувствовал их запах — запах воска, ладана, пота и страха.

Этот роман — не документальное повествование. Я позволил себе додумать, дорисовать, дышать за них. Я позволил себе увидеть то, чего не видели архивы. Но я старался оставаться честным с историей.

Честным с судьбами.

Честным со смертью.

Я не знаю, понравится ли вам эта книга. Она жестокая. Она тягучая. Она пропитана запахом тления и величия одновременно. Но я знаю одно: после неё вы по-другому посмотрите на Петербург. На Неву. На собор. На снег, который падает над этим городом, таким же красным и белым, как триста лет назад.

Потому что время — это не линия. Это круг. И мы до сих пор в нём. В ожидании.

Автор.

ПРОЛОГ.

ТОТ, КТО УМЕР НЕДОСТРОЕННЫМ

Его называли Великим. Его называли Антихристом. Его называли плотником, царем, тираном, богом. Но когда он умирал, в комнате пахло только уксусом и мочой — теми запахами, которые не смываются величайшими титулами и не искупаются золотыми куполами. Он лежал на кровати, которая была слишком короткой для его роста, и его ноги свешивались с края, как будто даже в смерти он пытался куда-то идти, куда-то бежать, что-то догонять.

Это было 28 января 1725 года. В Зимнем дворце горели

свечи, хотя на улице был полдень — тучи висели над городом так низко, что казалось, их можно достать рукой с крыши, и солнце не пробивалось сквозь эту серую вату, погружая Петербург в вечные сумерки. Ветер выл в трубах, как голодный зверь, и этот вой смешивался с хрипом умирающего императора, создавая музыку, которую никто не хотел слушать.

У его постели стояли врачи — немцы, голландцы, англичане — и разводили руками. Они знали, что делают, но их знание было бесполезно против того, что происходило внутри Петра. Его мочевой пузырь, его почки, его сосуды — всё было разрушено до такой степени, что даже самые лучшие лекарства, привезенные из Лейдена и Парижа, не могли ничего изменить. Оставалось только ждать. Ждать, когда природа закончит то, что начала.

Но Пётр не хотел ждать. Он пытался встать, пытался говорить, пытался отдать последние приказы. Он требовал бумагу и перо, чтобы написать завещание, но его рука не слушалась — она дрожала так сильно, что буквы превращались в паутину. Он требовал, чтобы привели его дочерей, но когда Анна и Елизавета вошли в комнату, он не узнал их. Он смотрел на них мутными глазами и спрашивал: «Кто это? Кто эти женищины?»

Екатерина, его жена, сидела в углу и плакала. Она плакала не от горя — она плакала от страха. Страх, что вместе с Петром умрёт и её власть, её положение, её будущее.

Она была женщиной простой, необразованной, но она знала одно: без Петра она — никто. И этот страх был сильнее любви, сильнее памяти, сильнее всех тех лет, которые она провела рядом с ним.

Меншиков, его друг и враг одновременно, стоял у дверей и смотрел на умирающего с выражением, которое нельзя было назвать ни горем, ни радостью. Это было выражение хищника, который ждёт, когда его добыча упадёт, чтобы броситься на неё и разорвать на части. Он ждал. Он всегда ждал. И его терпение должно было вознаградиться.

А Пётр лежал и смотрел в потолок. Он видел там не лепнину, не трещины, не тени от свечей. Он видел корабли, которые строил. Он видел города, которые закладывал. Он видел войска, которые водил в атаку. Он видел лица своих солдат, своих врагов, своих детей, своих женщин. Он видел всю свою жизнь, сжатую в один миг, и этот миг был похож на удар молнии — ослепительный, оглушительный, смертельный.

— Я не хочу умирать, — прошептал он. — Я не хочу умирать, потому что я ещё не всё сделал. Я не достроил собор. Я не заложил флот. Я не научил Россию быть Европой. Я не успел...

Он замолчал. Слова застряли в его горле, как кости, и он начал кашлять. Кашель был страшным — он разрывал грудь, выворачивал лёгкие, и в нём слышались хрипы утопающего. Врачи подбежали к нему, но он оттолкнул их рукой,

которая ещё сохранила остатки силы.

— Оставьте меня, — сказал он. — Оставьте меня одного. Я хочу умереть, как жил — без ваших лекарств и ваших молитв.

Они отошли. Они оставили его одного, хотя в комнате было двадцать человек. Они стояли у стен, молчаливые, неподвижные, как изваяния. Они смотрели на него, и каждый думал о своём. О том, что будет после. О том, кто займёт трон. О том, какие интриги начнутся, как только он закроет глаза.

А Пётр смотрел в окно. Там, за мутными стёклами, падал снег. Он был таким же, как всегда, — белым, холодным, бесконечным. И Пётр думал о том, что этот снег будет падать и после его смерти, что он будет покрывать его могилу, что он будет лежать на крышах его города, на шпилях его соборов, на палубах его кораблей. И это было единственное утешение — мысль о том, что мир продолжит существовать без него.

— Я ухожу, — сказал он, обращаясь к потолку. — Я ухожу, но я оставляю после себя Россию. И эта Россия будет великой. Она будет такой, какой я хотел её видеть. И никто не сможет повернуть её назад.

Он закрыл глаза. Его дыхание стало реже, глубже, тише. Его тело обмякло, как тряпичная кукла, и голова упала на подушку. В комнате стало тихо. Так тихо, что было слышно, как стучат сердца всех, кто стоял у стен.

И в этот момент, когда смерть уже протянула свою холодную руку к его груди, Пётр вдруг открыл глаза. Они были ясными, чистыми, почти прозрачными. Он посмотрел на Екатерину, на Меншикова, на врачей, на служанок, которые прятались за дверями. И он сказал последние слова, которые слышали все, кто был в комнате:

— «Отдайте всё... Всё моё... Всё, что я построил... Отдайте России...»

Его рука упала, как падает сломанный парус. Его голова запрокинулась, и из его горла вырвался последний звук — не крик, не стон, а что-то похожее на вздох облегчения. Император умер.

Но никто не заплакал. Никто не упал на колени. Никто не произнёс молитву. Все стояли, оцепеневшие, и смотрели на тело, которое ещё секунду назад было живым. И в этой тишине, нарушаемой только треском свечей и завыванием ветра, родился новый мир. Мир без Петра. Мир, который должен был научиться жить без своего создателя.

И этот мир был страшен. Он был полон страха, ненависти, интриг. Но в нём была и надежда — надежда на то, что всё, что он сделал, не будет забыто. Надежда на то, что Россия продолжит его путь.

Первым зашевелился Меншиков. Он шагнул к телу, посмотрел на него с странным выражением — не с болью, не с жалостью, а с чем-то похожим на торжество. Он взял руку Петра, которая уже начала холодеть, и сжал её. Он

хотел что-то сказать, но его голос предал его. Он только прошептал:

— Ты ушёл, Пётр. Ты ушёл, а я остался. И теперь я буду делать то, что должен делать.

Он отпустил руку и вышел из комнаты. За ним последовали другие — советники, генералы, священники. Они выходили, как из храма, который только что был осквернён. Они выходили, чтобы начать новую жизнь.

А Пётр остался лежать на своей кровати, с открытыми глазами, которые уже ничего не видели. Он смотрел в потолок, где танцевали тени от свечей, и эти тени были похожи на чертежи его недостроенных кораблей, его незаконченных реформ, его недописанных указов. Он умер недостроенным. Таким, каким он жил.

Через час в комнату вошёл Бартоломео Карло Растрелли. Он держал в руках кусок гипса и смотрел на лицо мёртвого императора. Его глаза были сухими, но руки дрожали. Он знал, что должен сделать. Он должен сохранить это лицо. Он должен превратить его в вечность.

Он подошёл к кровати, встал на колени и начал накладывать гипс. Он делал это медленно, аккуратно, как будто боялся, что Пётр проснётся и оттолкнёт его. Он наносил слой за слоем, и каждый слой был как молитва. Молитва о том, чтобы этот человек не исчез навсегда.

Когда гипс застыл, Растрелли снял маску. Он держал её в руках и смотрел на неё, как смотрел бы на своего ребёнка.

И в этом взгляде было всё — и горе, и восхищение, и ужас.

«Ты мёртв, — прошептал он. — Но ты будешь жить. Ты будешь жить в моей маске. Ты будешь жить в памяти. Ты будешь жить вечно».

Он завернул маску в ткань и вышел из комнаты, оставляя тело Петра наедине с тишиной и свечами.

С этой ночи началась история, которая длилась шесть лет. История о том, как умирал и воскресал император. История о том, как его тело ждало похорон, а его империя ждала нового начала. История о людях, которые превратили смерть в искусство, траур — в политику, а память — в религию.

Их имена почти забыты. Их лица исчезли, как маска Растрелли, разбитая на три части. Но их дела остались. Остались в чертежах «Печальной залы», в медном ковчеге Брумкорста, в «Слове» Прокоповича, в незаконченной стене Каравака, в Петропавловском соборе Трезини, в астрольбиях Брюса, в портретах Санти.

Они создали не просто похороны. Они создали миф. Миф о Петре, который продолжает жить до сих пор. Миф о России, которая была построена на костях, но поднялась до небес.

И теперь, когда мы стоим у его могилы, мы слышим их голоса. Они шепчут нам о том, что время — это не линия, а круг. Что всё возвращается. Что мы должны помнить. Что мы должны верить. Что мы должны продолжать стро-

ить.

Потому что, пока мы помним — они живы.

А они живы. Навсегда.

И это — начало конца. Или конец начала. Но это — история, которую вы должны услышать.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

КРАСНЫЙ СНЕГ НАД НЕВОЙ

Зимой 1725 года снег в Петербурге падал не белым, а красным. Нет, не от крови — крови на улицах было мало, Пётр Алексеевич не любил лишней крови, он предпочитал, чтобы она кипела внутри, в жилах, и выходила потом через поры вместе с водкой и матюгами. Снег был красным от заката, который никак не хотел гаснуть, повиснув над шпилем Петропавловской крепости словно огромный, воспалённый глаз умирающего бога. Этот закат длился уже четвёртый час, хотя по всем законам природы и астрономии, которые так любил вычислять Брюс, солнце должно было давно утонуть в Финском заливе. Но не утонуло. Оно висело, налитое кровью, и подсвечивало город таким образом, что стены Адмиралтейства казались облитыми суриком, а шпили соборов — остриём копий, вонзённых в небо.

Вот уже шестую ночь в Зимнем дворце не гасили свечи. Они чадили, плавили воск на паркет, и этот запах — смесь ладана, пота и горелого жира — стал главным запахом империи. Говорят, что когда человек умирает долгой смертью, его дом начинает пахнуть по-особенному — в этом запахе

есть сладость гниющих фруктов и горечь железа. Именно такой запах стоял в покоях Петра. Даже самые стойкие гвардейцы, дежурившие у дверей, отворачивались и прикладывали к носу надушенные платки, но платки не помогали: запах проникал сквозь ткань, сквозь кожу, сквозь молитвы, сквозь водку, которой они заливали страх.

Император метался в жару. Его большое, грузное тело — тело плотника и солдата, покрытое шрамами, мозолями и синими венами, — выгибалось на постели, как выброшенная на берег щука. Он уже не говорил, только хрипел. И в этом хрипе слышалось что-то древнее, языческое, словно сам Змей Горыныч пытался вырваться из его грудной клетки. Врачи — немцы, выписанные из Гамбурга и Лейдена, — разводили руками и шептались о «воспалении мочевого пузыря» и «заражении крови». Но старые русские бояре, которые тайком крестились в углах, знали: это не болезнь. Это наказание. За то, что Пётр слишком высоко замахнулся — хотел стать богом, а остался человеком.

И вот в этом застоявшемся, прокисшем воздухе, где каждая молекула была пропитана смертью, и начали собираться те, кому суждено было стать первой и последней похоронной службой Российской империи. Они ещё не знали друг о друге, они ещё не получили указов, но их тела уже чувствовали, что судьба стягивает их в один узел — тугой, кровавый, неразрывный.

Яков Вилимович Брюс, потомок шотландских королей,

человек, который умел считать звёзды и варить золото из свинца, стоял у окна в своих покоях и смотрел на Неву. Лёд на реке трещал, как кости старого воина. Брюс не спал уже третьи сутки, но его глаза — светлые, холодные, как лёд, которым он торговал с голландцами — оставались ясными. Он знал: Император умирает. Он знал это раньше врачей, потому что видел гороскоп, составленный им самим двадцать лет назад. Там, в квадрате Сатурна и Марса, стояла дата — 28 января 1725 года. Брюс тогда рассмеялся и сказал себе: «Это ошибка. Пётр бессмертен, как железо, из которого он куёт свою империю». Но железо ржавеет. И Пётр, которого Брюс видел молодым, дышащим огнём, сейчас лежал в соседнем крыле, и его дыхание было похоже на треск ломающейся льдины.

— *Всё идёт по расписанию,* — прошептал Брюс в бороду, которую не брил уже неделю — в знак траура, хотя траур ещё не был объявлен официально. Борода у Брюса была редкая, рыжеватая, и в ней запутались седые волосы — следствие ночных бдений над алхимическими ретортами. Он был единственным при дворе, кто знал, что вода состоит из двух газов, что золото можно растворить в царской водке, и что душа человека, покидая тело, оставляет на стекле маслянистый след. Он проверял это на мышах, на собаках, на пленных шведах. Но никогда — на царе. Царь был неприкосновенен даже для его науки.

За спиной Брюса, на дубовом столе, громоздились астро-

лябии, глобусы, рисунки планет и стопка писем из Лондона, где коллеги по Королевскому обществу спрашивали его о северном сиянии. Брюс не отвечал им уже полгода. Он был занят другим: он составлял карту смерти. Не своей — Императора. Он вычерчивал траектории всех придворных, у которых были зубы на престол, и понимал, что после Петра начнётся такая грызня, что даже его, Брюса, безжалостно сожрут. Если, конечно, он не создаст механизм, который упорядочит хаос.

Яков Вилимович был не просто учёным и военачальником. Он был хранителем времени. При дворе его боялись больше, чем Меншикова. Меншиков мог ударить в челюсть, Брюс мог шевельнуть пальцем — и у тебя начинала болеть печень, а во сне являлись покойные родители. Его боялись, но не любили. Даже Пётр, который любил всех, кто мог выпить с ним на равных, относился к Брюсу с настороженностью. Однажды, на ассамблее, Пётр взял Брюса за плечо и сказал: «Ты, Яшка, не человек. Ты — инструмент. И я боюсь, что ты однажды начнёшь работать против меня». Брюс тогда поклонился и ответил: «Инструменты, Государь, не имеют воли. Они служат тому, кто их держит». Пётр засмеялся, но смех был нервным.

Сейчас Брюс думал о том, что он действительно станет инструментом. Но чьим? Сената? Екатерины? Меншикова? Или он будет работать на самого покойного, который прикажет ему из могилы? Брюс провёл пальцем по стеклу, и на

морозном узоре осталась полоса, похожая на траурную ленту. Он знал, что ему, именно ему, Сенат поручит Печальную комиссию. Он уже видел её очертания в своём воображении: она будет похожа на часовой механизм, где каждая шестерёнка — человеческая жизнь, а каждая пружина — амбиция. Но механизм этот заработает только тогда, когда закроются веки Государя. А пока Брюс ждал. Он ждал всегда — потому что терпение было его главной добродетелью. Он пережил стрелецкие бунты, пережил опалу, пережил смерть первой жены, которую он не любил, но оплакивал как положено. Он переживёт и это. И он будет стоять у гроба, как часовой, и считать секунды до того момента, когда Россия останется без отца.

В соседней комнате, в окружении фолиантов и чертежей, спал уткнувшись носом в стол Доменико Трезини. Швейцарец из итальянской семьи, архитектор, построивший пол-Петербурга, сейчас походил на загнанную лошадь. Он не был придворным в полном смысле этого слова — он был рабом камня. Пётр приказал ему достроить Петропавловский собор, и Трезини работал как одержимый, потому что знал: если он не успеет, Император велит высечь его на площади. Но теперь Император умирал, а шпиль собора всё ещё торчал в небо как незаконченный вопрос.

Трезини родился в горах, среди ледников и сосен. Его отец был каменщиком, и маленький Доменико с детства знал, что такое вес камня. Он приехал в Россию молодым,

полным иллюзий, думая, что здесь можно построить рай. Он ошибся. Пётр хотел строить не рай, а крепость. И Трезини, стиснув зубы, строил эту крепость — крепость, которая должна была стать гробницей.

Во сне он вздрагивал и бормотал что-то по-итальянски:

— *Santo cielo*, — шептал он, — *Santo cielo, dove sono?* (Святое небо, где я?)

Ему снилась Венеция, где он когда-то был юношей, и где смерть была элегантной, как гондола. Здесь, в России, смерть была топором. Ему снилось, что собор рушится, а из-под обломков вылезает сам Пётр с обгоревшей бородой и приказывает строить всё заново, но уже на костях. Трезини просыпался в холодном поту, хватал карандаш и начинал рисовать — не собор, а странные геометрические фигуры, в которых угадывался саркофаг.

Трезини не знал, что именно ему — вместе с Брюсом — суждено будет решить, где и как тело Императора будет ожидать своего последнего часа. Он не знал, что он сделает временную церковь внутри недостроенного собора, и что эта временная церковь станет гробницей на долгие шесть лет. Шесть лет — срок, за который можно построить целый город. Но не в России, где время текло не по солнцу, а по прихоти царской воли. Трезини был человеком размеренным: он любил за#тракать одним яйцом и глотком молока, он любил ходить в церковь по воскресеньям, он любил свою жену Ма-

рию, которая родила ему троих детей и теперь лежала в лихорадке, потому что петербургский климат убивал итальянцев быстрее, чем шведские пули.

Трезини боялся, что его жена умрёт раньше Петра. И тогда ему придётся хоронить двух людей — одну в сырой земле, другого в камне. Он не знал, какая смерть тяжелее. Но когда он думал о Петре, его руки начинали дрожать, потому что он видел в этом человеке не просто царя, а архитектора судеб. Пётр перекраивал мир, как Трезини перекраивал чертёж. И если мир рухнет, рухнут и чертежи.

А на другой стороне дворца, в комнате, которую отгородили ширмой от парадных залов, сидел Франческо Санти, граф, герольдмейстер. Итальянец по рождению, англичанин по воспитанию, русский по необходимости. Он не спал — он рисовал. Тонким пером, окуная его в чернила с примесью толчёного янтаря, Санти выводил на бумаге схемы будущей церемонии. Он уже делал это однажды — четыре года назад, на похоронах царицы Прасковьи Фёдоровны. Тогда Пётр присутствовал лично, дышал в затылок Санти и поправлял его рисунки своим толстым, обкуренным пальцем.

— Больше чёрного, Санти! — кричал Пётр. — Чёрный — цвет голландских траурных барок. Чёрный — цвет пороха. И чтобы свечи были выше меня!

Санти помнил, как тогда его руки тряслись, но не от страха, а от вдохновения. Пётр был лучшим заказчиком в его жизни, потому что он платил не деньгами, а славой. И

сейчас, рисуя эскизы для «Печальной залы» — того самого *Castrum Doloris*, который предстояло возвести в Зимнем дворце, он дрожал снова. Но дрожь была не от восторга — от ужаса. Он, Франческо Санти, создаст главную декорацию в истории России. Его имя будут проклинать, и славить, его схемы будут перерисовывать мастера через сто лет. Но цена этого — смерть самого Императора.

Санти был красивым мужчиной с длинными пальцами пианиста. При дворе о нём шептались, что он любовник вдовствующей царицы, но это была ложь — он был любовником её фрейлины, и это было гораздо опаснее. Фрейлину звали Анна Головкина, и она была женой вице-канцлера, человека злого и мстительного. Их тайные встречи происходили в лакейских, в каретах, в мастерской самого Санти, где пахло лаком и скипидаром. Анна была страстной, как ураган, и требовала от Санти не просто любви, но бессмертия. «Нарисуй меня, как богиню», — шептала она, и Санти рисовал. Но в тайне он рисовал её в гробу, с закрытыми глазами, потому что только так он мог представить себе их вечную разлуку.

Санти умел плести интриги, не произнося ни слова, лишь поправляя парик или улыбаясь уголком губ. Его главным врагом был Меншиков, который считал Санти «слишком изящным для русского двора» и обещал «посадить его на кол, чтобы он стал прямее». Но пока жив Пётр, Санти в безопасности. Пока жив Пётр...

«Когда он умрёт, — думал Санти, проводя линию, означа-

ющую траурный балдахин, — *я стану либо главным распорядителем, либо мертвецом. Третьего не дано*». Он знал, что Екатерина благоволит к нему, потому что он умел льстить красиво, без заискивания. Но Екатерина была женщиной слабой, и за её спиной стояли сильные мужчины, которые могли перерезать горло графу-герольдмейстеру, даже не заметив этого. Санти решил, что будет играть на двух досках одновременно — на доске Брюса и на доске Меншикова. И если он не ошибётся в ходе, то его «Печальная зала» станет не только памятником Петру, но и памятником ему самому.

Луи Каравак, французский живописец, в это время пил водку в своей мастерской. Он не был приглашён в Зимний дворец в эту ночь — он был не нужен, пока Государь ещё дышал. Но он знал, что скоро понадобится. Он уже держал в голове композицию будущей «Печальной залы»: цвета, тени, отражения свечей в золоте. Каравак был мастером обмана — он писал портреты, которые были красивее оригинала, и этим снискал любовь двора. Но сейчас ему предстояло написать не лицо, а пустоту. Пустоту, где раньше стоял трон.

Каравак был сыном парижского сапожника, который мечтал, чтобы его мальчик стал священником. Но мальчик вместо библии читал трактаты о перспективе, а вместо молитв рисовал обнажённых женщин. Он бежал из дома в семнадцать лет, добрался до Амстердама, потом до Лондона, и наконец — по странной прихоти судьбы — до Петербурга. Здесь он нашёл не только работу, но и вторую жизнь. Пётр

любил его за то, что он не был похож на русских живописцев, которые писали иконы с плоскими лицами. Каравак писал объемно, страстно, с кровью и потом. Его портреты стоили целое состояние, но он сам жил в нищете, потому что все деньги пропивал.

Водка была его музой и его проклятием. Он пил, чтобы заглушить страх перед русской зимой, перед русской жестокостью, перед русской бескрайностью, которая давила на психику, как крышка гроба. Когда он пил, он видел цвета ярче, и его кисть двигалась быстрее. Но когда он трезвел, он видел себя в зеркале — стареющего, обрюзгшего, с мешками под глазами, — и ненавидел свою французскую душу, которая так и не смогла стать русской.

— В России не умеют умирать, — бормотал Каравак, закусывая солёным огурцом. — В России умирают, как медведи в берлоге — громко, с треском, и оставляют после себя кучу дерьма.

Он вспоминал похороны во Франции, при Версале, где смерть была балетом, где каждый жест был выверен этикетом, а слёзы стоили денег. Здесь же, в России, смерть была ярмаркой. И Пётр, этот варвар с душой Ренессанса, хотел превратить свою смерть в самый грандиозный спектакль. Каравак был готов дать ему этот спектакль — за хорошую плату.

Но в глубине души Каравак боялся не смерти Петра, а того, что будет после. Когда трон опустеет, начнётся грызня. И

в этой грызне художники всегда становятся первыми жертвами. Или последними шутами. Каравак решил, что будет держаться Брюса. Брюс — человек без эмоций, как камень. За ним, как за стеной. Однако Брюс был холоден с ним, считал его «декадентским отбросом Европы». Но Каравак знал одно: Брюс не умеет льстить, зато Каравак умеет. И он будет льстить Брюсу до тех пор, пока не войдёт в комиссию. Потому что войти в Печальную комиссию означало выжить. Не войти — исчезнуть в чёрной дыре русской истории.

А в самом центре дворца, в комнате, где пахло уксусом и ладаном, у постели умирающего стоял Бартоломео Карло Растрелли. Отец знаменитого Франческо, который построит Зимний дворец для Елизаветы. Сейчас старый Растрелли был не архитектором, а скульптором смерти. Он держал в руках кусок гипса и ждал. Ждал, когда испустит дух Пётр, чтобы снять с его лица посмертную маску.

Растрелли был грузным, вечно потеющим итальянцем, у которого жена умерла от чахотки, а сын ненавидел его за то, что отец слишком часто отдавал предпочтение работе, а не семье. Бартоломео любил сына, но не умел это показывать. Вместо объятий он давал ему уроки черчения. Вместо сказок на ночь — рассказы о том, как правильно лепить уши мёртвых. Сын вырос холодным и расчётливым, и Бартоломео видел в этом свою вину. Но он не мог измениться — он был как мрамор, из которого вырезал статуи: твёрдый и неподатливый.

Растрелли-старший уже снял маску с Мазепы, с Шереметева, с царицы Наталии. Но маска Петра — это было нечто иное. Это был слепок эпохи. Когда он думал об этом, у него перехватывало дыхание. Он стоял рядом с кроватью, сжимая в руке кусок гипса, и смотрел на лицо Императора. Лицо это было страшным: одутловатое, с синими губами, с запавшими глазами, из которых вытекала какая-то мутная жидкость. Но даже в таком состоянии Пётр был величественен. Его нос — нос победителя, как говорил Растрелли, — всё ещё вздымался над верхней губой, и в этом было что-то хищное.

— Он выглядит как римский император, даже сейчас, — шепнул Растрелли доктору Блументросту, кивая на одёр. — Посмотри на нос. Это нос победителя.

Доктор только отмахнулся: он знал, что Растрелли говорит не о носе, а о символе. О том, что после смерти Петра Россия останется без лица. И Растрелли, как никто другой, должен был сохранить это лицо в гипсе. Но Растрелли не знал главного: он проживёт ещё долгие годы, и маска Петра будет висеть в его мастерской, покрываясь пылью, и каждый раз, смотря на неё, он будет вспоминать, как в ту ночь не посмел дотронуться до лица Государя — оно было горячим, словно Пётр всё ещё жил.

Растрелли был человеком верующим, но его вера была странной. Он молился не Богу, а Материи. Он считал, что гипс, мрамор, бронза — это формы, в которые переселяется душа после смерти. И когда он накладывал гипс на лицо

Петра, он чувствовал, как через его пальцы проходит электрический ток — ток истории. Он боялся этого тока, но не мог отнять руки. Потому что это было его призванием — быть мостом между миром живых и миром мёртвых.

Гендрик Брумкорст, голландский мастер лакового дела, сидел в своей каморке на Адмиралтейской стороне и полировал кусок меди. Он уже получил заказ: медный ковчег для гроба Императора. Не простой ящик, а произведение искусства, которое должно было пережить века. Брумкорст был трудоголиком и мизантропом. Он ненавидел русских за их пьянство, ненавидел немцев за их чопорность, ненавидел итальянцев за их болтовню. Он любил только медь. Медь не врёт, медь не предаёт.

Брумкорст родился в Роттердаме, в семье бочара. Его отец делал бочки для сельдей, и Гендрик унаследовал от него любовь к точности. Он приехал в Россию по приглашению самого Петра, который увидел его работы на ярмарке в Амстердаме. Пётр тогда сказал: «Такой ящик достоин хранить мои чертежи». Брумкорст сделал ящик для чертежей, потом — для книг, потом — для оружия. И вот теперь — для тела.

Брумкорст знал одну тайну: он уже сделал ковчег. Да, он сделал его два года назад, по тайному указу Петра. Государь сам пришёл к нему в мастерскую, похлопал по меди крючковой рукой и сказал:

— Гендрик, сделай мне дом вечный. Чтобы я там не

сгнил, а лежал как живой.

Брумкорст сделал. Он вложил в этот ковчег всю свою душу — сухую, расчётливую, но преданную своему делу. Он покрыл медь двенадцатью слоями лака, каждый слой сох по три дня. Он выгравировал на крышке сцены из жизни Петра. Полтавский бой, спуск корабля на воду, Азовские походы. Он работал по ночам, когда никто не видел, и молился своему кальвинистскому богу о том, чтобы этот ковчег никогда не открыли.

Но теперь ковчег стоял в подвале, покрытый тканью, и ждал своего часа. Брумкорст боялся одного: что внутри ковчега будет не Пётр, а какой-нибудь самозванец. Он знал, как работает дворцовая политика, и понимал, что его работа может стать инструментом обмана. Но он решил не думать об этом. Он будет делать свою работу. Медь — вечна. А люди — нет.

Брумкорст был одинок. Его жена умерла в прошлом году от горячки, дети остались в Голландии и не писали ему. Он жил в крошечной комнатке, где единственным украшением был его медный ковчег, который он накрывал простынёй, как труп. Иногда он садился рядом с ним и гладил его, как гладят любимую собаку. Он знал, что когда-нибудь этот ковчег станет главным предметом в империи. И тогда его имя — Гендрик Брумкорст — будет произнесено с благоговением. Или с проклятием. Ему было всё равно.

И наконец, в траурной тишине, в углу спальни, сидел,

сгорбившись, Феофан Прокопович, вице-президент Святейшего Синода. Он не был ни архитектором, ни художником, ни мастером. Он был голосом. Именно ему предстояло сказать главные слова над гробом. Но пока Пётр ещё дышал, Феофан готовился. Он перечитывал Библию, искал цитаты, подбирал метафоры. Он знал, что его «Слово на погребение Петра Великого» станет манифестом новой России.

Феофан был сложным человеком. В молодости он был студентом в Киеве, потом в Риме, видел папу римского, пил вино с кардиналами. Он вернулся в Россию и стал главным церковным реформатором. Но за его спиной тянулся шлейф слухов: что он атеист, что он масон, что он продал душу дьяволу за кафедру. На самом деле Феофан просто боялся смерти. Боялся больше, чем кто-либо из них. И именно поэтому он так тщательно готовил свои речи: словами он хотел заклипать неизбежное.

У Феофана был секрет, о котором не знал даже царь. У него была дочь — внебрачная, от вдовы купца, которую он любил в Киеве. Девочка жила в монастыре, и Феофан тайно посылал ей деньги. Он боялся, что после смерти Петра его враги раскопают эту историю и уничтожат его. Поэтому он работал над речью как одержимый, вкладывая в каждое слово не просто красноречие, но мольбу о пощаде. Он хотел, чтобы его слова были настолько прекрасны, чтобы даже самые злые люди не посмели тронуть его.

В эту ночь, 27 января, он писал на клочке бумаги:

«Кто ныне нам премудрый кормчий? Кто победитель? Кто отец?». Он перечеркнул это, потому что понимал: все эти вопросы останутся без ответа. Вместо этого он написал другое: *«Волки придут, овцы разбегутся. Но слово останется»*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.